

Роман глущенко

Rejected

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Роман Глущенко

Rejected

<https://litres.ru/74662323>

SelfPub; 2026

Аннотация

Роберт Милкович не искал драк и не жаждал славы — ему просто не хотелось стать «ником». От школьных коридоров, где ярлык «тупой» пытались сделать приговором, до армейских будней, где слово «устал» стирают из словаря, — каждый этап жизни проверял его на излом.

Rejected

Rejected «отвергнутый», «отброшенный» или «отклонённый».

Я научился контролировать дыхание ещё до того, как понял, что такое контроль. В ванной комнате на третьем этаже, где пахло хлоркой и дешёвым мылом, я стоял перед зеркалом и считал: вдох — четыре секунды, задержка — семь, выдох — шесть. Это был мой первый способ не сойти с ума.

Приличный — это когда ты улыбаешься, даже если у тебя зубы сводит от того, сколько вокруг фальши. В тот день я впервые понял, что улыбка — это тоже форма контроля. Ты натягиваешь её, как перчатку, чтобы никто не видел, что у тебя руки дрожат. Потом был школьный коридор. Запах старых ботинок и лака для паркета. Кто-то смеялся. Кто-то показывал пальцем. Кто-то делал вид, что не замечает. Все были заняты тем, чтобы выглядеть правильно. Правильные позы, правильные слова, правильные лица. Я смотрел на них и думал: если все притворяются, значит, никто не настоящий. Значит, мир — это огромная сцена, где каждый заучил свою роль, но никто не помнит, зачем он здесь.

Детство.

В пять лет все копали ямы в песочнице, гоняли машинки,

прятались за скамейками, как будто от этого зависела судьба мира. А я сидел на краю, где песок уже сухой и сыпался пылью, и держал в руках книжку. Буквы тогда ещё не были словами — они были узором, картой, схемой. Я водил пальцем по строчкам, будто прокладывал маршрут. Отец научил меня читать. Не «почитай, сынок», а по-настоящему: терпеливо, без снисхождения, как будто я уже взрослый и имею право знать. И это чувство — когда из чёрточек вдруг складывается смысл — было как щелчок. Как будто кто-то повернул выключатель, и комната стала понятнее. Я не был особенным. Не надо этого пафоса. Просто мои интересы лежали не в песке, а в тексте. Я искал смысл во всём. Разбирал игрушечную машинку до винтика, чтобы понять, откуда берётся движение. Снимал крышку с будильника, пока отец не поймал меня на полу с шестерёнками, рассыпанными, как крошки. Я не хотел сломать — я хотел увидеть механизм. Из чего это сделано? Для чего? В шесть лет меня отдали в школу. Я был самый маленький в классе. Хлюпик. Тонкие запястья, рукава свитера сползают, будто одежда с чужого плеча. И в этом была своя правда: я действительно был не на своём месте.

Меня били. Не каждый день. Но достаточно, чтобы это стало частью расписания, как математика или перемена. Просто потому что я слабее. Просто потому что можно. И я задавал себе вопрос, который не умел сформулировать вслух: почему, если я слабее, меня надо бить? Это не было обидой, которая плачет в углу. Это была холодная, неудоб-

ная мысль, которая царапала изнутри: есть правило, которое я не выучил. Правило силы. Правило стаи. Но это не сломало меня. Наоборот — дало стержень. Прямо там, в шесть лет, когда я поднимался с пола, отряхивал колени и шёл дальше, не оборачиваясь, чтобы не показать, что больно, я начал себя закалять. Не по книжкам про спорт. По-своему. Я учился не показывать боль. Учился держать лицо. Улыбка как перчатка — натянул и пошёл. Я считал вдохи, чтобы не сорваться на крик. Четыре секунды — вдох. Семь — задержка. Шесть — выдох. Это был мой первый способ контроля. А ещё я запоминал. Запоминал, как они смеются, как делят территорию, как выбирают жертву. Не чтобы ненавидеть их. А чтобы понимать правила игры, в которую меня втянули без моего согласия. Правило 1: если ты слабее, мир не станет мягче. Он просто покажет тебе свои углы. Правило 2: боль — это тоже информация. Надо только научиться её считывать, а не глотать целиком. Правило 3: стержень не рождается в комфорте. Стержень — это то, что остаётся, когда всё остальное пытаются выбить. После уроков я шёл домой, садился за стол и снова открывал книгу. Там не было кулаков, там были слова, и слова можно было разобрать, понять, выстроить в цепочку. Там был порядок. Иногда отец смотрел на меня и говорил: «Ты слишком много думаешь». А я кивал, потому что не знал, как объяснить, что думать — это мой способ держаться на ногах. Что если я перестану искать смысл, то останусь только с тем, что видят другие: маленький, слабый,

удобный для удара. И я продолжал искать. Из чего сделаны вещи. Из чего сделаны люди. Из чего сделан этот мир, где сила решает, кому говорить, а кому молчать.

Оценки.

В начальной школе я быстро понял: класс — это сцена, а мы все — актёры, у которых нет текста. Кто-то выучил роль отличника и теперь её играет, как заученный монолог. Кто-то — роль хулигана. Кто-то — тихони, которого не замечают. А я стоял в стороне и смотрел, как они примеряют маски. Особенно смешно было смотреть на отличников. Они лизали зад учителю не потому, что хотели знать, а потому что знали: так дают баллы. Улыбка по расписанию, рука, поднятая раньше, чем прозвучит вопрос, — это был их способ контроля. Только контролировали они не себя, а реакцию учителя. И учитель это поощрял. Это была сделка: ты ведёшь себя правильно — я ставлю тебе пятёрку. Фальшь становилась нормой. Мне учёба давалась трудно. Не из-за того, что я не мог понять. А из-за того, что я сам себе поставил барьер: я не буду выпрашивать оценку. Не буду просить помочь. Не буду играть в эту игру. Если я возьму подсказку, значит, я признаю, что без неё я «тупой». А я не хотел признавать то, чего не было. Я не считал себя тупым. Просто я не хотел платить за оценку своей гордостью. И из-за этого меня и правда начали считать тупым. Учитель давил: «Иди к доске! Быстрее! Отвечай!» Как будто скорость — это доказательство ума. Как будто если ты не можешь выстрелить

ответом за три секунды, ты вообще ничего не знаешь. Я застывал. Не от незнания, а от этого давления — оно было как ледяная вода, которая сковывает движения. Я замкнулся. Не потому что сдался. А потому что понял: в этом спектакле мне не дают говорить. Мне дают только кивать. А ещё я видел, как за некоторых вписывались. Приходила мама, ругалась, требовала справедливости, защищала своего ребёнка от любой царапины. За других всё решали взрослые, не давая им даже почувствовать, что такое настоящий удар. Им не нужно было учиться держать удар — за них держали стену. И знаешь, что самое страшное? Многие из этих отличников, за которых всё решали и выгораживали, сейчас — серая масса. Дом, бытовуха, ничтожная зарплата. Кто-то в тюрьме. Кто-то спился. Их не научили быть сильными — их научили быть удобными. А когда удобство перестаёт работать, когда мир перестаёт гладить по голове, они теряются. Потому что никто не дал им прочувствовать это на своей шкуре. Никто не сказал: «Теперь ты сам». А я тогда, в начальных классах, уже учился этому «сам». Учился стоять, когда хочется сесть. Учился молчать, когда хочется кричать. Учился не просить, потому что просьба — это тоже форма слабости в глазах стаи. Правило 4: оценка — это не про знания. Это про то, насколько хорошо ты умеешь играть роль, которую от тебя ждут. Правило 5: если ты не хочешь играть, тебя назовут странным. Если ты не хочешь просить, тебя назовут упрямым. Если ты молчишь, тебя назовут тупым. Правило

б: иногда единственный способ сохранить себя — это стать невидимым. Не исчезать. А просто не давать им повода тебя сломать. На переменах я уходил в угол, где пахло мелом и старыми учебниками, и снова открывал книгу. Там не было оценок. Там были факты. Там можно было разобрать предложение на части и понять, из чего оно сделано. Из букв, из правил, из логики. И в этой логике было что-то честное. Когда учитель вызывал меня к доске, я шёл, чувствуя, как все смотрят. Это был не взгляд интереса — это был взгляд ожидания провала. Они хотели увидеть, как я споткнусь. И я шёл медленно, специально, чтобы показать: я не бегу к своей ошибке. Я подхожу к ней лицом. Иногда я ошибался. Иногда не знал ответа. Но я не опускал глаза. Я смотрел прямо, даже если внутри всё сжималось. Потому что если я опущу глаза, они поймут, что нашли моё слабое место. А я не хотел, чтобы они его знали. Я не был отшельником. У меня были друзья. Не толпа, не банда, не те, кто хлопает по плечу и орёт «свой парень». Были двое: тихий пацан, который всё время рисовал танки в тетради, и девчонка, которая прятала в пенале кусочки хлеба для голубей. Мы не строили планы на жизнь. Мы просто не мешали друг другу быть странными. Этого хватало. А потом приходила она. Школьный психолог. Имени не помню. Да и неважно. Она была как деталь из другого фильма: высокая, короткостриженные чёрные волосы, кожаные штаны, каблуки, очки. Будто пыталась выглядеть как кто-то крутой, будто читала в журнале «Как быть пси-

хологом для подростков» и выучила только костюм. Она заходила в класс, оглядывала нас, как будто мы — не дети, а экспонаты, и громко, чтобы слышал весь класс, говорила:— Милкович, ко мне в кабинет. Сейчас. Не «Роберт, можно на минутку?». Не «подойди после урока». Прямо при всех. Как приговор. Как объявление: «Этот мальчик — с пометкой». И детские мозги считывали это мгновенно. Не «ему помогают». А «он псих, его к психиатру». Я видел, как у кого-то дёргался уголок рта в ухмылке. Кто-то шептал. Кто-то просто смотрел с этим особенным интересом, с которым смотрят на аварию: неприятно, но оторваться нельзя. Это было не про помощь. Это было про демонстрацию контроля: вот кто тут «нормальный», а вот кто — под вопросом. И вопрос этот висел над тобой, как запах дешёвого освежителя воздуха в её кабинете — сладкий, навязчивый, фальшивый. В её кабинете пахло духами и бумагой. На столе — куча бланков, тесты, цветные карточки, которые должны были вытаскивать из тебя «эмоции», как нитки из распущенного свитера. Она смотрела поверх очков и говорила эти фразы, будто читала их с экрана:— Расскажи, что ты чувствуешь.— Ты часто злишься?— Тебе кажется, что тебя не понимают? А я сидел и думал: ты не хочешь услышать, что я чувствую. Ты хочешь вписать меня в графу. В квадратик. Чтобы у тебя был отчёт: «Ребёнок в зоне риска», или «Тревожность выше нормы», или «Нуждается в наблюдении». Ты хочешь, чтобы я дал тебе слова, которые ты потом превратишь в штамп. Я от-

вечал коротко. Не из упрямства. Из экономии. Каждое слово здесь стоило дороже, чем в обычном разговоре, потому что его могли использовать против тебя. «Да». «Нет». «Не знаю». После этих вызовов я возвращался в класс, и воздух становился другим. Не враждебным. Просто... осторожным. Как будто между мной и остальными появлялась невидимая плёнка. Даже друзья смотрели чуть иначе: не с осуждением, а с этой неловкой заботой, от которой становилось ещё хуже. Как будто я теперь — хрупкий. Как будто одно резкое слово может меня сломать. А я не хотел быть хрупким. Я хотел быть обычным. Просто обычным пацаном, который не любит, когда его выставляют напоказ. Однажды, когда она снова крикнула «Милкович, ко мне» прямо посреди урока, я встал, посмотрел на неё и сказал:— Можно после урока? Класс замер. Учительница тоже. Даже карандаши перестали скрипеть по бумаге. Психолог приподняла бровь, будто я нарушил сценарий.— Почему после? Сейчас нужно. Когда урок закончился, я пошёл к ней в кабинет. Не потому что хотел. А потому что знал: если не пойду, это станет ещё одной меткой. «Не идёт на контакт». «Сопротивляется помощи». Ещё один квадратик в отчёте. Но я шёл уже не как жертва, которую тащат на сцену. Я шёл как человек, который согласился на разговор, но на своих условиях. Пусть и крошечных. Пусть и в виде одной фразы. В кабинете она снова начала с этих вопросов. А я ответил:— Я не псих. Я просто не люблю, когда меня выставляют напоказ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.